



Ф. СОЛОГУБ

О Грядущем Хаме Мережковского

Глядя на молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, г-ну Мережковскому хочется воскликнуть (конечно, воскликнуть, а не сказать):

— Милые русские юноши! Не бойтесь глупого старого черта политической реакции. Не бойтесь никаких соблазнов, никакой свободы. Одного бойтесь — рабства, и худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

Итак, надо бояться. И есть чего бояться. То, что всегда казалось вовсе не страшным, обыкновенным, ежедневным, общепринятым и общепризнанным, это-то и есть самое страшное для поэта, философа и христианина, потому что это — пошлое, а черт и есть вечная плоскость, вечная пошлость. Бессмертная людская пошлость, созерцаемая за всеми условиями местными и временными, — историческими, народными, государственными, общественными, — есть безусловное, вечное и всемирное зло. И эта плоскость, эта нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин, этот вечно серый, неизменно ничтожный и истинно страшный черт, созерцаемый в мире феноменальном, в условиях теперешней действительности, вывертывается из своей вневременной оболочки, являет легкомысленно мятущемуся миру свое страшное лицо уже почти без маски, дерзко отрицает Бога, истерически кричит: я! я! я! и собирается воцариться, поработив духовно свободного доньше человека скверными соблазнами безмятежного мещанского житья-бытья. И этот новый царь будет Хам, вечный Смердяков, духовный босяк. Он с превеликим озорством осмеет наготу отца своего Ноя, пренебрежет гне-

вом упившегося старца, махнет рукою на его злобные проклятия и выстроит для себя и для детей своих очень удобное и благопристойное, но очень мещанское, а потому гнусное и безбожное жилище.

Так как это — очень страшные перспективы, то необходимо найти спасение. А спасение одно, — в Боге. А к Богу нельзя прийти без Христа. Итак, предлагается, убоявшись Хама, прийти ко Христу. А так как в господствующей церкви, как и в существующем государстве, действительно много нагажено, то надо устроить новую церковь, вечную, апокалипсическую, и туда загнать человеческое стадо кнутом духовной свободы, которую отнюдь нельзя смешивать со свободой гражданской или политической.

Такова болезнь, и таково лечение. И так как лекарство не слаще лечимого, то хочется проверить: так ли?

Г-н Мережковский боится Грядущего Хама. В этой формуле почтительные критики остановятся на последнем термине: Грядущий Хам, и разберут эту размалеванную страшными красками фигуру. И в этом анализе встретится много интересного, потому что все, что пишет г-н Мережковский, не может не быть интересным в высокой степени. Но я предпочел бы остановиться на другом термине: боится.

Вслед за политическим освобождением русского народа, за его Лазаревою субботою, ему угрожает новая опасность, горшая прежнего порабощения, горшая того могильного смрада, в котором он пробыл многие столетия, — господство Хама, впадение в нестерпимую плоскость мещанского благополучного прозябания. И эта опасность представляется мне совершенно фантастическою. Думать, что за политическим освобождением придет торжествующее хамство, думать, что русского четырехдневного Лазаря воскрешает корыстолюбивый Иуда — значит, по-моему, не верить в свободу, приходящую из надмирных высот, не верить в творческий характер свободы, бояться свободы. Откуда же явилась эта боязнь, эта странная ненависть к освобождению в его современной форме, к современному фазису политической борьбы?

Эта боязнь, сколь ни удивительна она на первый взгляд, имеет глубокое основание в прошлом русской художественной литературы. Пройти по вершинам этой литературы — это означает осмотреть печальное зрелище великого, созданного маленькими людьми. Может быть, люди в множестве никогда и нигде не были так малы и так ничтожны, как в России XIX века. Русская государственность осуществила худшие стороны человеческих сожитий. Так как она была чрезвычайно последовательна, то, создан-

ная великим народом, она наивернейшим способом давила и гнала людей. Укрепленная в зловещем гении Петра Великого, этого грубого и кровожадного вампира, вволю упившегося горячею кровью свободолюбивых стрельцов, этого первого и увенчанного бессердечного чиновника, творца табели о рангах, человека, которого г-н Мережковский называет первым русским интеллигентом, эта государственность обратила русскую действительность в кровавый туман кошмарной фантазмагории. Воздвигнутая государственным строительством народа, она стала проклятием и язвою этого народа. Она довела его до самого края той бездны, куда уже и до нас сваливался не один народ в безумном стремлении к обманчиво-всемирным фантомам. Давя звериными лапами и чаруя змеиными очами, эта свирепая и коварная государственность влила свой ужасный яд и в высокое делание свободного искусства.

И вот в истории русской литературы прошлого столетия, с золотого, будто бы, века, мы видим безобразную коллекцию искаженных и погубленных фигур. Всегда несвободная, всегда колебавшаяся от хвалений «в надежде славы и добра» к пустым излияниям вольнолюбивых чувств на чаемых «обломках самовластья», а чаще по чаемому «манию царя», русская литература только в лице Лермонтова представила чистый и обаятельный образ доподлинно великого поэта и воистину великого человека, никогда не заставившего свою музу лизать превознесенные стопы.

Самое гениальное и проникновенное создание Пушкина — Савельич, прирожденный холоп. Конечно, из глубин своей души изнес Пушкин этот удивительный образ, нарисованный с таким тщанием, с такою трогательною любовью. Как Савельичу, и самому Пушкину дороже всего в жизни был барский тулупчик, — строй, предания, традиции. В комедии «Горе от ума» самый жизненный образ — Молчалин, гениальный автопортрет преуспевшего карьериста, сделанный в самом начале карьеры, и сделанный с тою же очаровательною и ненарочною откровенностью и непосредственностью, с какою Мартышка в басне Крылова хихикала над своим отражением в беспощадном зеркале. В галерее гоголевских типов героические образы совершенно меркнут перед истинными выходцами из его души, мертвой и темной: Хлестаковым, Чичиковым и другими в том же милом роде. Собакевич не нашел в русской жизни ни одного порядочного человека.

Но литература, по самому основному свойству своему, все же таки не могла не стремиться к свободе и к ее движущему началу — к истине. Застойное болото русской жизни не давало ни сво-

боды, ни истины, ни движения к истине и свободе, того движения, которому присвоено несколько смешное и отчасти уже скомпрометированное название «прогресс». Все эти блага оказались столь же недоступны, как виноград в басне был недоступен голодной лисице. Жалкий стыд голодной гордости подсказывал унылые заявления: «Да зелен, ягодки нет зрелой». — «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». — «Запад гниет, разлагается». — «Царю — сила власти, народу — сила мнения».

И в глазах г-на Мережковского прогресс, капризом мысли голодной и жадной, оказался опасным как лучший союзник Грядущего Хама, бессмертного будто бы Ермолая Лопухина, который придет в грубом торжестве и на место вишневого сада, полного поэзии и преданий, нарубит мещанских, хамских дачек, — и там, где прежде задумчиво и красиво по расчищенным аллеям в изысканно-простых нарядах проходили изящные барышни, нашептывая скромные и милые речи и застенчивые признания любезным и остроумным кавалерам, там пойдут под яркими ситцевыми зонтиками девушки с исколотыми иголками пальцами, и засмеются громко, и будут бегать и возиться со своими возлюбленными и женихами, какими-нибудь приказчиками из суровских лавок. У хамов, известно, и забавы хамские. Барину Мережковскому они не могут нравиться.

В ряде поколений развращенная тираническим самодержавием русская современная литература являет образец грустного разъединения, — или слишком она материалистична, без Бога и против Бога — у Чехова, у Горького, или она — у г-на Мережковского — очень с Богом, но зато опасливо поглядывает на политическое освобождение и с нескрываемым аристократическим презрением воротит нос от хамства. Но в хамстве нет ничего страшного уже потому, что оно не приходит, а уходит.

Хамство — грязный пережиток старых лет, издыхающее порождение старого строя. Кто бы ни пришел в ближайшее будущее на политическую арену, царство Хама не грядет, а кончается. Мы пережили хамский период нашей общественности. Бояться Грядущего Хама станет только тот, кто не верит свободе, кто не любит ее превыше всего на земле и в мире нездешнем. В свободе — творчество и радость жизни, в свободе — и восторге смерти. Нельзя войти в свободу для того только, чтобы закиснуть в болоте мещанского и хамского благополучия, пошлой самоудовлетворенности. Свобода непрерывно разрушает и непрерывно созидает. Она влечет и волнует. К ней мечты и любовь, за нее первая и последняя кровь, в ней жизнь, за нее смерть. Радостны муки

и желанны страдания за нее. Сладким пламенем восторга она льется по жилам, и вкусивший из ее кубка приобщается к такому мощному потоку жизни и восторга, вливает свой голос в такой могучий гимн, при которых нет места мелким, пошлым бедам пережитой нами многовековой ночи.

Но г-н Мережковский боится свободы в ее историческом, сегодняшнем воплощении. Он слишком литератор для того, чтобы отдаться свободному и пламенному пафосу великого исторического момента. Ему кажется, что люди, отыскивая свои маленькие политические и гражданские права, забудут свое великое всемирное дело, забудут Бога живого.

Ну, а Бог живой не напомнит им о себе?

Да и не забудут люди Бога. Только пойдут для всемирного дела, может быть, и не по тем тропинкам, которые столь милы сердцу г-на Мережковского, но которые уже не однажды заводили человечество в тупик. К истлевшим костям привязывая мечту о спасении, г-н Мережковский хочет отомолиться от Грядущего Хама, отчураться от него словами древних заклятий, откадиться от него палестинским ладаном. Он боится Грядущего, и, плюя в него против дико веющего ветра, называет Грядущего Хамом. Но не может скрыть, да и не хочет скрывать, что Грядущий есть человек в его совершенном самоутверждении, в конечном торжестве его личного освобождения. Голый человек, по терминологии г-на Мережковского, босяк. Всякий, отвергший божественность Галилеянина, есть внутренний босяк. Человек без Бога, говорит г-н Мережковский, есть зверь, и хуже зверя — скот, и хуже скота — труп, и хуже трупа — ничто.

Такими страшными словами, напоминающими свирепые формулы жреческих проклятий, заклинает г-н Мережковский человеческий путь, только человеческий, слишком человеческий путь самоутверждения. Но что же делать? Путь самоотрицания пройден до конца, и ныне путь самоутверждения — единственный для нас путь спасения.

